
ТЕНЬ
ИМПЕРИИ
Михаил Степнов

Михаил Степнов

Тень Империи

«Автор»
2026

Степнов М.

Тень Империи / М. Степнов — «Автор», 2026

Он не станет спасать империю. Он хочет вовремя из неё уйти.Ноябрь 1913 года. Михаил Степнов, сорок пять лет, просыпается во дворе Владивостока без документов, с двумя рублями не того образца и с точным знанием того, что будет дальше. Война через восемь месяцев. Революция через три с половиной года. Красные во Владивостоке к двадцать второму.Другой на его месте взялся бы подсказывать власти и строить будущее. Степнов начинает с другого: найти угол, добыть бумаги, найти человека, который за него поручится. Любая перемена опасна тому, кто знает слишком много. Каждая верная догадка делает его заметнее, а заметных в этой стране записывают.

© Степнов М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пробуждение 5
Глава 2. Деньги не те 7
Глава 3. Угол 9
Глава 4. Витрина 11
Глава 5. Вывесочник 13
Глава 6. Первые рубли 15
Глава 7. Норма 18
Глава 8. Бумаги 20
Глава 9. Список 22
Глава 10. Выбор 24
Глава 11. Простой 26
Глава 12. Шея 28
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Михаил Степнов
Тень Империи

Глава 1. Пробуждение

Я просыпаюсь от запаха.

Не от звука и не от холода, хотя холодно. От запаха. Мозг, привыкший к брифам вроде «свежий морской бриз с нотами белого мускуса», добросовестно перебирает прилагательные и не находит ни одного подходящего. Угольный дым. Лошадиный навоз, причём много. Рыба, которая лежит давно и ни о чём не жалеет. Керосин. Известь, которой присыпают что-то очень нехорошее. Всё это стоит в воздухе плотно, как в плохо проветриваемом погребе.

Я лежу на боку, щека на шершавых досках. Над головой низкое серое небо, в нём кричат чайки. Где-то далеко ревёт пароход, длинно и низко, и звук проходит сквозь грудную клетку.

Так, думаю я. Это не моя кровать.

Это вообще не кровать. Я сажусь, рёбра отзываются, спина тоже. Последнее, что я помню: вечер, макет упаковки на втором мониторе, бутылка пива и своя кровать: я лёг спать. Больше ничего. Ни шва, ни щелчка, ни света в конце тоннеля. Просто вечер закончился, а двор начался.

Двор небольшой и тесный. Слева кирпичная стена в потёках, справа дощатые сараи, у стены поленница, бочка, перевёрнутое корыто. Через арку виден кусок улицы, мощёной булыжником. Улица круто уходит вниз, и в конце, в просвете между крышами, серая вода и мачты. Эти очертания я узнал бы где угодно: изгиб берега, линия сопок, Золотой Рог. Это мой город. Только над бухтой нет моста, а на склонах нет ничего, кроме низких домов и дыма.

По булыжнику медленно ползёт телега. Лошадь настоящая, от неё идёт пар.

Первая мысль логичная: съёмки. Реконструкция, фестиваль, какой-нибудь «день города» с костюмами. Я ищу глазами камеры, штативы, девушку с рацией. Их нет. Зато из-за поленницы выходит женщина в платке и длинной юбке, с двумя вёдрами, и смотрит на меня так, как смотрят на мешок, которого вчера здесь не было.

— Ты чего тут разлёгся, болезный? Нализался вчера?

— Нет, — говорю я. — Извините. А где тут съёмочная площадка?

— Чего?

— Ну, съёмки. Кино.

— Какое тебе кино, — отвечает она без всякого выражения, как говорят с людьми, которым уже ничем не поможешь. — Ступай домой, пока городовой не увидел.

Она уходит. Ни улыбки, ни подмигивания, ни взгляда в сторону оператора. Говорит она по-русски, но с интонациями, которых нет даже у самых старательных актёров. Просто никто не играет.

Я встаю, держась за стену, и выхожу под арку. Через дорогу лавка, над дверью вывеска, написанная от руки: «ХЛѢБЪ И БУЛКИ». Ниже мелко: «Колоніальныя товары».

Ять я знаю. Школа, пара десятков шрифтовых коллекций, ночные чтения о дореформенной орфографии. Твёрдый знак в конце слов тоже. Меня занимает другое: буквы выписаны кистью, межбуквенные просветы вывесочник отмерял на глаз, и выглядит это лучше, чем половина логотипов, которые мне присылают на согласование. Мир, возможно, рушится, а я оцениваю кернинг. Профессиональная деформация.

Организм тем временем напоминает, что у него своё мнение о происходящем и ждать оно не будет.

В дальнем углу двора стоит дощатая будка. Сортир на улице для меня не новость: такой был у бабушки в деревне. Две недели в августе, с фонариком, с ощущением, что участвуешь

в выживальческом шоу, и это называлось «отпуск». Но та будка принадлежала одной семье. Эту, судя по вытоптанной тропе, обслуживает человек сорок.

Внутри ящик с известью, ведро и гвоздь, на котором висит стопка нарезанной газеты. Я смотрю на гвоздь. Гвоздь смотрит на меня.

Три слоя, думаю я. Мягкая. С ромашкой.

И понимаю, что скучаю по ней сильнее, чем по кофе. Вторая очередь скорби, судя по всему, будет по пиву.

Читать у меня привычка, даже здесь. Верхний край листа оторван, но уцелел обрывок с датой: «…ря 1913 г.». Бумага серая, грубая, с древесными щепками, пахнет типографской краской. Реквизит так не делают. В реквизите всегда лучше.

Я сижу в дощатой будке с обрывком газеты в руке и очень старательно ничего не думаю.

Потом думаю.

Тысяча девятьсот тринадцатый. Из всех дат, которые я держу в голове, эта не самая важная. Важна другая, и она стоит в конце ряда, как дедлайн на финальной странице брифа. Семнадцатый. Я не историк, но про этот город знаю больше, чем про всю остальную страну: экскурсии, краеведческие книги, таблички на стенах. Кунст и Альберс, Скидельский, Старцев, Даттан: в моё время это фамилии на мемориальных досках, а здесь они, должно быть, прямо сейчас ходят по Светланской. И революция повторялась в школе, в лекциях, в десятках сериалов так часто, что въелась навсегда. До неё меньше четырёх лет.

Обрывок с датой я кладу в карман. Остальное использую по назначению.

В карманах: телефон без сети, ключи, пара пластиковых карт. Здесь они ничего не стоят. Хуже: если меня обыщут, это уже не «странный человек», а дело.

Меня зовут Михаил Степнов, мне сорок пять. За плечами опыт в рекламе и запуске новых товаров. Денег этого времени у меня нет совсем. С чего начинать, я не знаю.

Начинаю с того, что выхожу из будки.

Глава 2. Деньги не те

Я выхожу из ворот и жду, что реальность одумается. Что из-за угла сейчас выкатится такси, что в витрине отразится моя куртка и всё вернётся, как возвращается экран после зависания.

Не возвращается.

Улица идёт круто вниз, к воде, и я иду вместе с ней, потому что ноги знают этот уклон лучше головы. Дощатые тротуары, булыжник, чугунные фонарные столбы без единого провода. Телега. Ещё телега. Извозчик смотрит на меня с профессиональным интересом: поедете, барин, или так, пешком?

Сзади звенит звонок. Я оборачиваюсь так резко, что хрустит шея: по рельсам, покачиваясь, ползёт маленький деревянный трамвай, набитый людьми в картузах. Я знаю, что он здесь был. Читал. Но читать про трамвай и стоять в метре от него — разные вещи, вторая пахнет углём и мокрой шерстью.

Люди смотрят. Не пялятся, воспитанные, смотрят украдкой, зато методично, как смотрят на чужую собаку в подъезде. Я их понимаю: на мне джинсы, куртка и кроссовки, а вокруг сапоги, шинели, картузы и платки. Выгляжу как человек, который опоздал на маскарад лет на сто.

Желудок вспоминает о себе вторым. Первым вспоминает рот. Пить хочется так, что вода из бочки во дворе вспоминается с нежностью.

Над дверью полуподвала на углу висит вывеска: «ПИВНОЙ ЗАЛЪ „АРДАГАНЪ“». Слово «пивной» я читаю дважды. Дальше решение принимается так, как принимаются все плохие решения: сначала действие, потом анализ.

Внутри жарко, дымно и низко. Опилки на полу, длинные столы, запах капустных щей, махорки и работающих людей. На стене портрет императора в золочёной раме, под ним лысый мужик в жилете, видимо, хозяин. Грузчики, матросы, китаец в синем халате с аккуратной косой, кореец в белом, пара приказчиков. Все едят, говорят и не замечают меня ровно до тех пор, пока я не сажусь.

— Чего изволите? — Половой в белом фартуке, с полотенцем на плече, возникает из воздуха.

— Пельмени, — говорю я. — И пиво.

Первые пельмени за сто тринадцать лет приходят в глиняной миске, со сметаной, и это, не буду врать, лучшее, что со мной случалось за последние сутки. Пиво тёмное, густое, пахнет хлебом, и первый глоток я делаю так, как, наверное, делали его в этой самой комнате: не спеша и закрыв глаза.

Минут десять я счастлив. Потом половой кладёт на стол бумажку.

— Тридцать копеек.

Тридцать копеек. Я лезу в карман. Телефон без сети, ключи, пара пластиковых карт. Копеек нет. Нет вообще никаких.

— Картой можно? — спрашиваю я, и это самая глупая фраза, которую я произносил в жизни.

— Какой картой?

— Банковской.

Половой смотрит на меня с глубоким сочувствием.

— Это в картишки, что ли, на интерес? Здесь не играют, барин, здесь едят.

Телефон лежит в кармане, и мысль о залоге приходит и тут же уходит. Светящееся стекло объявит меня колдуном раньше, чем я успею сказать «залог». Или вором, что в этом заведении, скорее всего, одно и то же.

— Я могу отработать, — говорю я. — Посуду помыть, что-нибудь…

— Хозяин в долг не верит. И отрабатывать у нас есть кому.

Сосед справа, громадный мужик в рабочей блузе с шеей как у быка, поворачивается ко мне всем корпусом. Он слышал всё.

— Босяк, — произносит он. — Нажрался на чужие, а теперь «отработаю». Ты откуда такой выискался? Говоришь не по-нашему.

— Я местный, — говорю я, и это самая честная и самая бессмысленная вещь, которую я сказал за весь день.

— Врёшь. Я тут всех знаю.

— Ладно, ладно, окей, спокойно. Давайте без…

— Чего ты сказал? — Мужик медленно встаёт. Табурет падает. — Ты меня по-аглицки обругал?

Если «окей» здесь звучит как ругательство, мне не повезло уже с первой фразы. Я прикидываю, где ближайший выход и сколько до него шагов.

— Не в моём заведении, — произносит хозяин. Негромко, но весь зал слышит. — Иван Ильич, сядь. А ты, — это мне, — иди отсюда, пока я городового не позвал.

Меня выпроваживают не грубо, но так, что сопротивляться неуместно: двое берут под руки, дверь, ступеньки, холодный воздух. Дверь захлопывается. Пельмени съедены, пиво выпито, я стою на мостовой и понимаю, что первое, что я сделал в 1913 году, это украл обед.

Тридцать копеек. Надо запомнить. Михаил Иванович Степнов, должник «Ардагана» на Пологой. Вернуть. Не знаю как, но вернуть.

Темнеет быстро, по-осеннему. Холод лезет под куртку, как будто знает, куда. Я иду вниз, потому что вниз — привычное направление, и не сразу замечаю, что улицы вокруг стали уже, а вывески на них другие. Иероглифы, красные бумажные фонари, запах жареного масла, имбиря и чего-то сладкого и тяжёлого, от чего слегка кружится голова. Из дверного проёма на меня смотрит старик в чёрной шапочке и молчит.

Миллионка. Я знаю про неё из книг. Сюда не ходят одни и без нужды.

Я шёл не сюда. Я просто шёл вниз.

Кто-то осторожно трогает меня за рукав.

Глава 3. Угол

Рукав держит мальчишка лет двенадцати: чумазое лицо, взрослые глаза, картуз, из-под которого торчат уши.

— Дядь, ночлег ищешь?

— Нет, — говорю я автоматически, потом: — Да.

— Пятак за ночь. У Фроси чисто.

— Пятака нет.

— А что есть?

— Ничего.

Мальчишка оглядывает меня с головы до кроссовок и обратно. В глазах быстрая бухгалтерия.

— Тогда стоять тут не надо, дядь. Здесь стоять — себя обокрасть. Пошли, Фрося диковинное любит, а ты диковинный.

Зовут его Гришка, и он ведёт меня по улочкам, где я бы сам никогда не пошёл: заборы, собаки, подворотни, в которых что-то шевелится и откашливается. Я иду за ним, как идут за единственным светом в тоннеле, и стараюсь не думать, что именно так начинаются истории с плохим концом.

— А тебя как? — спрашивает Гришка через плечо.

Секунду я прикидываю, что сказать. Потом говорю правду, потому что врать пока нечем.

— Михаил.

— Дядя Миша, — решает Гришка, и вопрос закрыт.

Подвал. Ступеньки вниз, дверь, пар, запах мыла и мокрого белья, керосиновая лампа, в свете которой всё кажется нарисованным маслом. Посреди корыто, над корытом женщина лет пятидесяти с руками, которыми можно проламывать стены.

— Гришка, ты кого приволок?

— Приезжий, тётя Фрося. Обокраденный.

— Обокраденный, — повторяет она без выражения. — Первая песня у всякого. Откуда?

— С парохода, — говорю я, и вру так, как врут люди, которые ничего другого придумать не успели. — Ночью, в трюме. Деньги, вещи, документы. Всё унесли.

— Пятак.

— Нет.

— Тогда зачем пришёл?

Это честный вопрос, и ответ у меня тоже честный:

— Холодно.

Она вытирает руки о фартук и смотрит долго. Не жалостливо, а по-хозяйски: так взвешивают мешок, прикидывая, не порвётся ли.

— Ладно. Холодно, а мне надо, чтобы человек до утра дожил, а то потом с полицией возиться. Угол вон тот, у печки. Звать-то как?

— Михаил Иванович Степнов.

— Степнов, — повторяет она, и в голосе появляется что-то вроде одобрения. — Степная фамилия. Из Забайкалья небось?

Я не знаю, что на это ответить, и молчу. Фрося принимает молчание за подтверждение.

— Вот и ладно. Забайкальцы народ крепкий. Ложись. Обувку не снимай, украдут.

— Ок, — говорю я. — То есть хорошо.

— Ага, — отвечает Фрося с тем выражением, с каким отвечают на иностранный язык: на всякий случай.

Угол — это буквально угол. Тюфяк с соломой на полу, сундук вместо подушки, одеяло, которое я стараюсь не нюхать. Рядом ещё человек десять в тех же условиях: слышно, как они дышат, ворочаются, кряхтят и храпят каждый в своей тональности, получается, надо сказать, неплохой оркестр. В стене кто-то шуршит. Подозреваю, клопы. Подозреваю, что само подозрение здесь роскошь.

Я лежу в куртке и кроссовках и пытаюсь осознать, что ещё вчера спорил с заказчиком о цвете крышки.

— Чего скучный, Михайло? — Хриплый голос справа из темноты. — Дорога дальняя была, а рассказать нечего?

Старик с обрубком вместо трёх пальцев на левой руке, бывший матрос, судя по якорю на запястье (позже я узнаю, что его зовут Семён), сидит на сундуке и смотрит на меня с интересом человека, которому нечем занять вечер.

— Расскажи чего. У нас так: кто складно говорит, тому и щи достаются.

Я собираюсь отказаться. Потом вспоминаю, что у меня нет ничего, кроме головы, а в голове сорок пять лет чужих историй, книг и сериалов.

Что рассказывать? Точно не про будущее. Я выбираю то, что рассказывают в темноте тем, кому страшно: про маленьких людей, одно кольцо и очень длинную дорогу.

Минут пятнадцать я рассказываю, как невысокий человек с волосатыми ногами тащит золотое кольцо к огню, потому что оно даёт власть и сводит с ума. Рассказываю без имён, без подробностей, которых не помню, с паузами там, где паузы нужны. К середине затихает храп. К концу слушают все.

— А кольцо куда дели? — спрашивает кто-то в темноте.

— В огонь.

— Дурак, — выносит приговор Семён. — Золото. Надо было продать.

Смех. Негромкий, смущённый, как будто люди давно не смеялись и разучились. Из-за корыт выходит Фрося, молча ставит рядом с моим тюфяком миску щей, накрытую куском хлеба, и говорит:

— Завтра ещё расскажешь. Щи за сказку, угол потом. Разберёмся.

Щи горячие, с капустой и крупой. Я ем и понимаю, что первую еду в этом мире я заработал языком, как кабацкий сказитель.

Потом лежу и слушаю оркестр. По запястью ползёт клоп, медленно, с достоинством.

— Прикольно, — шепчу я.

Никто не понимает. Мне от этого почему-то становится легче.

Глава 4. Витрина

Утро начинается с клопов, которые, как выясняется, ночью не шуршали, а работали. Руки, шея и, подозреваю, то, о чём лучше не подозревать. Я сажусь на тюфяке и, как человек разумный, составляю смету ущерба: девять укусов, одна ночь, ноль рублей.

Фрося разливает чай по кружкам: чёрный, густой, пахнущий веником. Сахар лежит на блюдце одним куском, и его не размешивают, а откусывают, по чуть-чуть, через глоток. Я пробую. Это, надо признать, работает, если не сравнивать с чайной ложкой.

— Пятак к вечеру, — говорит Фрося, не поднимая глаз. — Или сказкой, но сказки по ночам, а днём чтоб мне не мозолил. Гришка, покажи Михайле город.

Умываюсь у бочки во дворе. Вода ледяная, мыло серое, пахнет салом. Зубная щётка у меня теперь палец и философия.

Гришка ведёт меня вверх, к Светланской. Я знаю эту улицу: у неё та же длина, тот же изгиб, тот же уклон к воде. Дома стоят там, где им положено, и от этого хуже, как бывает хуже, когда в чужой квартире обнаруживаешь свою мебель. Извозчики, приказчики, барышни в шляпах с птицами. Мальчишка-газетчик орёт про Балканы, и я стараюсь не слушать, потому что знаю, чем это кончится меньше чем через год. Не здесь, далеко, но кончится.

На углу Гришка тормозит.

— Вот. Немцы. У них всё дорого.

Зеркальные витрины в два этажа, тяжёлая дверь, золотые буквы по чёрному: «КУНСТЪ И АЛЬБЕРСЪ». Я останавливаюсь. Эти фамилии я помню из книг и краеведческих статей, два абзаца, одна фотография, торговый дом, о котором потом десятилетиями будут писать люди с очень серьёзными лицами. А тут он просто стоит. С дверной ручкой. Из него выходит барыня с картонкой, и швейцар придерживает ей дверь.

— Чего застыл? — Гришка дёргает меня за рукав. — Тебе туда нельзя, у тебя башмаки чудные.

У него неплохое чутьё.

Но в голове у меня уже щёлкает другое, и щёлкает не про фамилии. Я смотрю на витрину и понимаю, чем она отличается от всего, что мы прошли: у неё есть лицо. Шрифт одинаковый на вывеске, на табличках, на ленте вокруг коробки в руках барыни. Фирма, которая знает, как она выглядит.

Потом мы сворачиваем в переулки, и лиц нет совсем.

Лавки. Одна, вторая, пятая. Над дверями доска, на доске написано «ЛАВКА», иногда с фамилией владельца, иногда без. Внутри всё то же: чай в деревянном сундуке, отвешивают совком и заворачивают в серую бумагу, скрутив уголки; сахар «головами» в синей бумаге, от которых откалывают щипцами; селёдка в бочке; керосин из бочки в твой бидон. Цены написаны мелом на досточке. Ни названий, ни картинок, ни обещаний. Не лавки, а безымянные сундуки с продавцом сверху.

— А вот Лукич, — говорит Гришка. — Чай у него лучший во всём околотке. Фрося у него берёт.

Напротив Лукича другая лавка, Хлебникова. Вывеска у Хлебникова красивая: зелёное поле, золотые буквы, виньетка. Чай у Хлебникова, по Гришкиным словам, пыль. Но народ идёт к Хлебникову.

Два прилавка, два сундука. Один товар хороший, другой хуже, а выбирают вывеску.

В голове проворачивается знакомое. Не «идея», это громко для такого утра, скорее старая привычка видеть, где у вещи пропал смысл. Хороший товар, ноль подачи. Тут есть готовая задача, как из учебника, в котором все главы про то, чего здесь ещё нет.

— Гриш, — говорю я. — А если бы у Лукича была картинка и название, и одинаковые везде? На лавке, на пакете, на возу, на сундуке?

— Это вывеска.

— Не только. Чтобы ты увидел знак на пакете, у соседа, на углу, и сразу знал: это Лукич.

— Так Лукич и так Лукич. Его все знают.

— Кто знает, те знают. А остальные?

Гришка морщит лоб.

— Остальные пусть ищут.

— Остальные пойдут к Хлебникову.

Пауза. Потом Гришка говорит, как человек, у которого в голове сдвинулась какая-то шестерёнка:

— А.

Этого «А» достаточно, чтобы понять, что я прав. Единственный минус моей правоты в том, что я не умею её исполнить.

Нахожу на земле щепку, присаживаюсь у забора и на размокшей глине вывожу пачку чая: прямоугольник, внутри название, рядом цветок. Вернее, то, что в моём воображении должно стать этикеткой. Гришка смотрит на результат, наклонив голову.

— Это что, гроб?

— Пачка чая.

— Гроб с чаем, — констатирует он без злобы, как врач.

Мои руки с рождения заточены под мышь и трекпад. Нарисовать ими что-то, кроме гроба, не получится, и никакая историческая миссия этого не изменит. Я вытираю щепку о забор.

Мне нужны две вещи: человек, который рисует, и человек, который за это заплатит. У меня нет ни того, ни другого. Зато есть Гришка, а он уже смотрит на меня прищурившись, как будто тоже пересчитывает свою бухгалтерию.

— Дядь, — говорит он. — Тебе, получается, вывесочник нужен.

— Есть такой?

— Прохор. За рынком. Не на Миллионке живёт, значит, пьёт умеренно. Только злой.

Злой — это ничего. Злые обычно профессионалы.

Глава 5. Вывесочник

Мастерская Прохора оказывается сараем за рынком, и найти её можно по запаху: олифа, скипидар, керосин и что-то ещё, от чего слезятся глаза. Над дверью табличка «ВЫВЪСКИ И ЗНАКИ». Буквы кривые, интервалы между ними гуляют, как пьяные.

Сапожник без сапог, думаю я. Профессиональная деформация подсказывает ещё пару слов, но я их не произношу.

Гришка заглядывает в дверь и тут же выскакивает обратно.

— Он злой, — предупреждает он. — Я говорил. Я пойду.

И исчезает за углом с проворством человека, который хорошо знает цену своей шкуре.

Прохор стоит на стремянке спиной ко мне и выводит на доске «ПОХОРОННОЕ БЮРО». Лет пятидесяти, борода с проседью, рукава закатаны, на руках засохшая краска разных эпох. Он не оборачивается.

— Заказ — деньги вперёд. Образцы смотреть можно, трогать нельзя. Если пришёл просто так, выходи.

— Я не просто так.

— Тогда деньги.

— Денег нет.

— До свидания.

— Я принёс вам заказчиков.

Кисть замирает. Прохор оборачивается медленно, как оборачивается человек, которому в сотый раз обещают золотые горы.

— Заказчики у меня каждый день. Лавочники, трактирщики, вот гробовщик. Мне ещё нужны?

— Это те, кто сами приходят. А вот эта, над дверью, ваша вывеска?

— Моя.

— Зачем она вам такая?

— Меня и так знают.

Я слышал эту фразу сегодня уже один раз, от Гришки, про Лукича.

— Выйдите на ту сторону переулка, — прошу я. — И прочтите.

Прохор смотрит на меня долго. Потом слезает со стремянки, вытирает руки о фартук и идёт на ту сторону. Я остаюсь у двери, как свидетель на следственном эксперименте.

— ВЫ… СКИ… З… — читает он, щурясь. Останавливается.

— Вот.

— Что «вот»?

— Буквы слиплись. Рисунок красивый, а читать издали нельзя. Прохожий должен прочесть с другой стороны улицы за пять секунд. Иначе он не прочтёт.

— Я эту вывеску за полчаса писал, между заказами!

— Заметно.

Это лишнее. Я понимаю, что это лишнее, ровно в тот момент, когда оно вылетает у меня изо рта. Прохор багровеет, и лицо у него становится цвета хорошей киновари.

— Ты кто такой, чтоб мне указывать? Я тридцать лет вывески пишу!

— И пишете хорошо. Руки у вас золотые. Я про расстояния между буквами и про то, что читается издали, а не про руки.

Паузу он держит так долго, что я начинаю считать лающих собак в соседнем дворе. Потом переходит дорогу, молча берёт карандаш и клочок серой бумаги.

— Рассказывай.

И я рассказываю. Лукич, лавка, чай. Нужен знак, не просто вывеска, а один и тот же, на лавке, на пакете, на ящике, на возу.

— Какой знак?

— Логотип.

— Чего?

— Ну… марка. Фирменный знак.

— Клеймо, что ли? Клеймо ставят скотине.

— Марка, — повторяю я терпеливо. — Рисунок, который люди запоминают. И девиз. То есть слоган.

— Слоган. — Прохор произносит это слово, как пробуют незнакомую рыбу. — Это по-аглицки? Ты, барин, не шпион?

— Это такой лозунг. Короткий. Чтобы запомнился.

— Лозунги у нас по бунтам. Говори по-русски, а не как по телеграмме.

Мы ругаемся ещё минут двадцать, и ругань у нас странная: я называю вещи не теми словами, он рисует не то, что я имею в виду, я говорю «проще», он говорит «некрасиво», я говорю «у вас самовар получается как купчиха», он отвечает, что самовар у него на самом деле как самовар, а купчиха была бы шире. В итоге остаются два круга, труба и завиток пара над ней. Над самоваром крупно слово: «ЛУКИЧЪ». Под ним мелко: «Чай. Настоящий». Всё. Ни виньеток, ни полей, ни золота.

Прохор смотрит на получившийся листок и молчит. Потом откидывается и произносит, не глядя на меня:

— Чёрт. Хорошо.

Слава богу, думаю я.

— Бесплатно не работаю, — добавляет он сразу, как человек, который поймал себя на слабости. — Полтора рубля за образец.

— Образец сделаем для Лукича. Если он купит, делим пополам. Если нет — я неделю таскаю вам доски.

— Ты? — Прохор осматривает меня с ног до головы. — Руками что-нибудь умеешь?

— Нет.

— Совсем?

— Совсем. Зато ртом умею.

— Ртом у нас в трактире все умеют.

Тем не менее он берёт листок, складывает вчетверо и кладёт в карман фартука.

— Идём к Лукичу. Говоришь ты, я молчу. Если выгонит, ты мне полтора рубля, и я тебе гроб сделаю, в качестве услуги.

Я считаю на ходу: тридцать копеек «Ардагану», пять Фросе, полтора Прохору. За двое суток я стал должником трёх разных ведомств, и ни одно из них не принимает кредитные карты.

Первые заказчики не знают, что они заказчики. Я сам ещё не знаю, что я продавец.

Глава 6. Первые рубли

Лавка Лукича встречает колокольчиком над дверью и запахом настоящего чая. Не пыли, как у Хлебникова напротив, а именно чая: тёмного, терпкого, с оттенком сушёных фруктов. Я принюхиваюсь и признаю, что Гришка был прав.

Сам Лукич сидит за прилавком в нарукавниках и щёлкает счётами. Крупный мужик за пятьдесят, с лицом человека, которому в жизни много обещали, а выдали по норме. На нас он смотрит поверх очков, без интереса.

Прохор останавливается у двери и принимается рассматривать потолок. Договор такой: говорю я, он молчит.

— Здравствуйте. Хотел поговорить о вашей лавке.

— Покупать будешь?

— Нет. Предложить.

— Чего?

— Вывеску. И знак на пакет, чтобы ваш чай узнавали.

Лукич возвращается к счётам.

— Меня и так знают.

Третий раз за два дня. Я решаю, что эту фразу пора вставлять в рамку.

— Те, кто знает, знают. А сколько людей проходит мимо в день, потому что у вас написано только «ЛАВКА»?

— А я за ними бегать не должен. Кому надо, тот заходит.

— А Хлебникову надо?

— Хлебников шельма. Чай у него труха.

— Знаю. И вы знаете. Но человек, который в околотке новый, не знает. Он видит красивое поле и золотые буквы.

— Дураки пусть идут.

— Дураки платят так же, как и умные.

Лукич щёлкает костяшкой. Сильнее, чем нужно.

— Сколько просишь?

— Четыре рубля. Вывеска, знак, печать на пакеты.

— Четыре! — Лукич вскидывается и от возмущения даже снимает очки. — Да я за четыре рубля бочку селёдки куплю и тебе ещё полбочки. Идите с Богом, молодые люди. Я чай торгую, а не картинки.

Прохор у двери выразительно кашляет.

На улице он говорит:

— Ну? Я предупреждал, что злой. Только не я злой, а он.

— Рано сдаваться.

— Мне полтора рубля.

— Неделя. Дайте мне неделю.

Он смотрит на меня как на человека, который собирается кататься по тонкому льду на коньках, и пожимает плечами.

Вечером я сижу в подвале у печки, жую Фросин хлеб, который она выдаёт мне авансом под будущие истории, и тяну время.

— Фрося, — говорю я. — Ты чай у Лукича берёшь?

— Беру. Хороший. А что?

— А соседкам вы про это говорите?

— Зачем?

— Просто скажите. Что чай у него лучше, чем у Хлебникова. Если вы так думаете.

Фрося оттирает корыто и косится на меня.

— Ты меня, барин, в сводни записываешь?

— Просто скажите, что думаете.

Она молчит и трёт корыто. Но на следующий день, когда мы с Гришкой проходим мимо лавки, у дверей стоят три женщины. На второй день шесть. Гришка докладывает:

— Лукич чуть не плачет. Не успевает отвешивать. Бабы говорят: «Фрося сказала».

— Фрося сказала, — повторяю я. — Это называется…

Сарафанное радио, думаю я и вовремя прикусываю язык. «Радио» здесь придётся объяснять, а у меня нет сил в сотый раз рассказывать, откуда я знаю слова.

— …молва.

— Молва, — соглашается Гришка. — Лукичу нравится. Он теперь всем говорит, что это его заслуга.

На четвёртый день дверь в подвал заслоняет собой Лукич.

Он стоит на пороге, огромный, в картузе и тулупе поверх нарукавников, и смотрит на меня так, как смотрят на человека, который навёл порчу.

— Это ты, барин, на меня порчу навёл?

— Не порчу. Это называется слух.

— Слух пошёл, — признаёт Лукич. — Бабы со всей слободки идут, на неделю вперёд всё разобрали. А дальше слободки не идёт. Шумят-шумят, а у Хлебникова народ всё так же. — Он морщится, как при зубной боли. — Ты был прав. Дурак я, что сразу не послушал.

— Не дурак. Вы просто торгуете чаем, а не картинками.

Лукич хмыкает. На секунду мне кажется, что он улыбнётся. Нет.

— Три рубля, — говорит он.

— Четыре.

— Три с полтиной.

— Четыре: вывеска, знак на лавку и печать на двести пакетов.

Лукич смотрит в потолок, видимо, советуясь с кем-то там.

— Два рубля сейчас. Остальное, когда повешу.

Я протягиваю руку. Он протягивает свою, красную, шершавую, как напильник. Рукопожатие у Лукича такое, что я подозреваю у себя перелом.

Так заключается моя первая сделка в 1913 году: без презентации, без слайдов и без единой цифры, кроме той, что пришла из моей головы.

Прохор делает вывеску за два дня. Он ворчит, правит, не соглашается, потом соглашается, потом снова не соглашается, и ругань у нас теперь почти нежная. Печать на пакеты вырезает сам, из липовой доски: самовар, завиток пара, слово. Когда Лукич вешает вывеску, на улице собирается небольшая толпа. Смотрят, обсуждают, спорят. Хлебников выходит на крыльцо напротив и стоит с таким лицом, будто ему показали счёт.

Расчёт в мастерской. Лукич отдаёт Прохору остальные два рубля, Прохор вычитает свою половину и отсчитывает мне. Не бумажкой, а серебром: один рубль, потом ещё один, тяжёлые, холодные, с двуглавым орлом.

Я стою с двумя рублями на ладони и не могу их положить. Они тяжёлые, не в переносном смысле, а буквально. Наличные в моём времени держишь ровно столько, сколько нужно, чтобы отдать. А эти настоящие. Серебро. Через четыре года они станут воспоминанием, потом ничем, потом бумагой с портретами других людей.

— Чего застыл? — ворчит Прохор. — Бери. Заработал.

Вечером я захожу в «Ардаган». Хозяин в жилете сидит за стойкой, считает выручку, и поднимает на меня глаза без всякого выражения.

— Ты чего вернулся?

— Долг.

— Какой долг?

— Тридцать копеек. За пельмени и пиво, в прошлый раз.

Я кладу на стойку серебряный рубль. Он молчит долго. Потом берёт монету, крутит в пальцах, разглядывает на свет и только после этого лезет в ящик за сдачей: полтинник и двугривенный.

— За двадцать лет первый раз такое вижу.

— Бывает.

— Садись. Пиво за мой счёт.

— Нет. Платить буду сам.

Он хмыкает, и в этом хмыке впервые что-то похожее на уважение.

Я сажусь за тот же стол. Сначала работа, вечером пиво. Теперь можно.

Тёмная кружка приходит с шапкой густой пены, и я расплачиваюсь сразу, двугривенным: сдачу хозяин отсчитывает молча. Я делаю первый глоток. Он честный.

Глава 7. Норма

Пиво тёмное, нефильтрованное, пахнет хлебом и слегка кисловато: живое, а значит, скоро перестанет быть пивом. Ни пастеризации, ни консервантов, ни холодильника. У хозяина оно проживёт дня три, а потом станет уксусом. Привычка оценивать срок годности мне сейчас совершенно ни к чему, поэтому я оцениваю.

Кружка на глаз около полулитра. Двенадцать копеек. Угол у Фроси стоит пять копеек за ночь, а две кружки за вечер обходятся в двадцать четыре. Привычка стоит почти впятеро дороже крыши над головой, и если это не повод пересмотреть приоритеты, то я не знаю, что им является. Я пересматриваю приоритеты и делаю ещё глоток.

— Простите, не вы ли тот самый барин, что Лукичу самовар придумал?

Голос слева. За соседним столом сидит мужчина лет сорока в тёмном сюртуке, с аккуратной бородкой и пенсне. Перед ним солянка и кружка, едва тронутая, рядом газета, сложенная вчетверо. Смотрит он на меня с вежливым любопытством, как смотрит человек, привыкший к цифрам, на явление, которое в них не укладывается.

— Не знаю, о чём вы.

— Знаете. Прохор-вывесочник всем рассказывает про барина, который придумал Лукичу самовар, и описывает так: «Росту среднего, башмаки чудные». — Он опускает взгляд на мои кроссовки и тут же возвращает лицу вежливость. — Аркадий Львович. Служу приказчиком в торговом доме на Светланской. А вы?

— Михаил Степнов.

— Степнов, — повторяет он, пробуя фамилию. — Из каких?

— Из Забайкалья.

Про Забайкалье слышит уже второй человек. Я начинаю привыкать к своей биографии, придуманной чужими людьми.

— Далеко. А чем там занимались?

Я выбираю самое безопасное: правду, но разбавленную.

— Торговым делом. Немного рекламой, немного товарами.

— Рекламой, — задумчиво тянет Аркадий Львович. — Это объявления, значит. В газету.

— Вроде того.

Он улыбается уголком рта.

— Тогда вы мне пригодитесь. У нас тоже бывают трудности с подачей. — Он делает паузу. — И с мылом.

— С мылом?

— Покупатели жалуются на хозяйственное. Щёлочь, сало, запах. Руки сохнут, моется плохо. Говорят, у Брокара лучше. Вы ведь, поди, разбираетесь? Раз уж лицо товару придаёте.

Вот оно.

Двадцать лет я знаю, как сделать шампунь из трёх сырьевых позиций за пять минут. Нужные слова проносятся в голове, как поезда мимо вокзала, на котором мне выходить: лаурилсульфат, бетаин, кокамид. Я мог бы продиктовать рецепт любого средства, от мытья посуды до мытья головы. Только лаурилсульфата не существует: его придумают лет через двадцать в немецкой лаборатории, и не для шампуней. Бетаина нет. Кокамида нет. Есть сало, щёлок, зола и то, что люди умеют делать с ними несколько тысяч лет.

— Теорию знаю, — говорю я осторожно. — Жир и щёлок, это омыление. Глицерин можно оставить, можно выварить, от этого зависит, будет мыло мягче или жёстче. Отдушки, чтобы запах не бил в нос. Но варить мне не доводилось.

— Теория тоже ценна.

— Теория без сырья и без рук называется лекцией. Могу рассказать, как должно быть. Как сделать из того, что есть, не могу.

Аркадий Львович кивает, как человек, который именно такого ответа и ждал: в нём нет ни обещаний, ни бахвальства.

— Честно. Редкость. — Он наконец отпивает из кружки. — А как вы к нам попали, Михаил Иванович, если не секрет? Вы ведь приезжий, это слышно.

Ответ у меня готов ещё с подвала Фроси.

— С парохода. Ночью обокрали, вместе с документами.

— Без бумаг в нашем городе человек не человек, а недоразумение. Вас и на пароход не пустят, и в приличную лавку не возьмут, и первый же городовой отправит разбираться. Есть люди, которые умеют такие вопросы решать. Не бесплатно и не быстро. Приходите в воскресенье после обедни, я вас представлю.

Я не спрашиваю, зачем ему это. Приказчик с пенсне и бородкой слишком вежлив, чтобы задавать мне вопросы, и слишком наблюдателен, чтобы их не иметь.

— Спасибо.

— Не за что. Пока.

Он расплачивается за свою солянку и кружку, один раз кивает мне на прощание и уходит, оставив на столе недочитанную газету. Я смотрю ему вслед. Первый человек в этом времени, которому от меня что-то нужно и которому что-то нужно мне, и ни один из нас не собирается бить другого. Это самая надёжная форма знакомства.

Я допиваю кружку медленно. В кармане рубль с лишним. Угол у Фроси стоит пять копеек. Арифметика впервые на моей стороне.

Глава 8. Бумаги

Воскресенье начинается с колоколов. Звонят все церкви сразу, неслаженно и от души, как оркестр без дирижёра, и в подвале дрожит посуда. Фрося встаёт раньше всех, достаёт из сундука чистый платок и смотрит на меня с подозрением.

— Умыться. И щетину эту, — она тычет пальцем, — до людей не показывай. К Аркадию Львовичу идёшь, не к Гришке.

Ночью я сказал ей, что иду насчёт бумаг. Больше ничего, но она кивнула и ничего не спросила, а утром выдала бритву. Опасную, с костяной ручкой. Опасной бритвой я никогда в жизни не брился. Минут десять я вожусь с ней, как с гранатой, и заканчиваю порезом на подбородке, пока Гришка из угла не замечает:

— Дядь, ты как будто себя казнить собрался.

Аркадий Львович ждёт у церковной ограды, в том же сюртуке, но с белоснежным воротничком, и приветствует меня так, как приветствуют человека, которого вежливо терпят.

— Вы бы зашли.

— Я… давно не бывал.

— Заметно, — говорит он без злобы. — Тогда подождите здесь.

Я жду. Прихожане выходят группами: бородатые купцы в тулупах, жёны в платках, барышни в шляпах, дети в начищенных сапожках. Меня обходят, как обходят чужую собаку, но уже без интереса. Вывеска «чужой» с меня никуда не делась, но я хотя бы перестал быть новостью.

Аркадий Львович выходит с небольшим сухим человеком в чёрном, лет пятидесяти, с тростью и с лицом, на котором навсегда застыла вежливая скука.

— Захар Ефимович. Ходатай по делам. Захар Ефимович, это Михаил Иванович Степнов, о котором я говорил.

Ходатай оглядывает меня ровно столько, сколько позволяют приличия, и ни секундой больше.

— Здесь не место. Пойдёмте.

Мы идём в чайную за углом: низкий потолок, самовар размером с ребёнка, клеёнка на столах. Захар Ефимович берёт чай, не спрашивая, достаёт из кармана записную книжку и карандаш.

— Консультация — гривенник. Вперёд.

Здесь даже слова платные. Я кладу гривенник. Он смахивает его в ладонь, не глядя.

— Имя, звание, откуда.

— Степнов Михаил Иванович. Из Забайкалья.

— Звание какое?

— В смысле?

— Сословие. Мещанин, крестьянин, казак, купец какой гильдии?

Я об этом не думал. Ни разу. В моём времени сословия существуют только в учебниках истории и в рассуждениях людей, которым нечем заняться.

— Я… обыкновенный.

— Обыкновенного сословия не бывает-с.

— Мещанин, — подсказывает Аркадий Львович.

— Мещанин, — повторяю я с видом человека, который наконец вспомнил.

Захар Ефимович вздыхает так, словно ему в сотый раз показывают одну и ту же шутку.

— Откуда в Забайкалье?

— Из Читы.

— Метрика, паспортная книжка, свидетельство какое-нибудь?

— Украдено. На пароходе.

— Всё украдено, — говорит он, записывая. — Всё и всегда. Хоть бы раз кто потерял.

Он закрывает книжку.

— Слушайте внимательно, потому что повторять не буду. Путей три. Первый: запросить Читу. Это письма, телеграммы, чиновники, месяцы. А ответят, скорее всего, что такого не значится.

— Это, — говорю я, — вполне вероятно.

— Второй, — продолжает он, будто не расслышав. — Купить готовую бумагу. Есть у меня знакомые, которые знакомы с такими людьми. Пять рублей за бумагу, пять лет за то, что поймают. Не советую. Их ловят чаще, чем хочется верить.

— А третий?

— А третий — поручитель.

Он отхлёбывает чай, давая слову повисеть.

— Купец, торговый дом, человек с положением, который скажет участковому: этот человек у меня служит, я за него отвечаю. Тогда выдают временное свидетельство. Его хватает, чтобы жить, служить и даже купить билет. Но поручитель должен вам верить. Или иметь причину.

— Какую причину?

— Выгоду, барин. Все причины на свете сводятся либо к выгоде, либо к страху. Страхом вы никого не возьмёте, значит, остаётся выгода.

Он встаёт, берёт трость.

— Консультация окончена. Если найдёте поручителя, приходите, оформим. Это обойдётся в двадцать пять рублей, но без поручителя я вам и за пятьдесят ничего не сделаю. Всего хорошего, господа.

Когда он уходит, Аркадий Львович смотрит на меня с сочувствием.

— Не пугайтесь. Двадцать пять рублей, это страшно звучит, но Захар Ефимович берёт много, а делает ровно. А вот поручитель… Решать тут вам, Михаил Иванович, не мне.

На улице холодно и пахнет снегом. Я иду к подвалу Фроси, считаю в уме: у меня рубль и несколько мелких монет, а нужно двадцать пять. И человек, который поверит чужаку без бумаг настолько, чтобы назвать его своим.

Бумага здесь, думаю я, означает человека, который за тебя поручится.

Значит, мне нужен купец.

Глава 9. Список

Портрет идеального купца я составляю в голове за один вечер, лёжа на тюфяке и разглядывая потолок подвала. Привычка: любое дело сначала описывать как портрет клиента.

Первое: не слишком богат. У слишком богатых вокруг толпа приказчиков, секретарей и людей, которые следят за каждым новым лицом. Второе: связь с заграницей, то есть родня, компаньон, склад, счёт, хоть что-нибудь, через что можно переместить деньги, не вызывая вопросов. Третье: осторожность, потому что осторожный человек переводит капитал заранее, а не когда уже горит. Четвёртое: нелюбовь к полиции. По серьёзным причинам или по несерьёзным, но чтобы городового он уважал меньше, чем собственный кошелёк.

Получается человек, которого не существует. Остаётся найти ближайшего к нему.

Спрашивать прямо нельзя. «Подскажите, у кого здесь родня за границей и характер подозрительный?» — именно так начинаются протоколы. Остаётся слушать. Это у меня получается лучше всего: слушать, как другие говорят, и вытаскивать из их слов то, что они сами не заметили.

Следующие две недели я работаю и слушаю. Прохор приносит мне заказы: бакалейщик, парикмахерская, пекарня. Это не самовар Лукича, но копейки складываются в рубли, а рубли в надежду на двадцать пять. Вечерами я захожу в «Ардаган», беру одну кружку и сижу над ней, как над долгами: растягиваю и разглядываю. Фамилия хозяина, как выяснилось, Мягков, имени-отчества он не называет, а я не спрашиваю. Теперь он кивает мне при входе. Маленькая победа, но в этом городе маленькие победы считаются крупными.

Иван Ильич приходит на третий вечер. Тот самый, с шеей как у быка. Садится напротив, молча ставит передо мной вторую кружку и смотрит.

— Я тебя тогда чуть не прибил, — сообщает он.

— Помню.

— Ты слово сказал, аглицкое. Я у приказчика потом спрашивал. «Окей», говорит, значит «хорошо», «согласен». — Он хмурится, как человек, обнаруживший, что бил по пустому месту. — Выходит, ты не ругался, а соглашался.

— Выходит.

— Дурак я.

— Бывает.

— Окей, — пробует он слово на вкус. И, кажется, остаётся доволен.

Иван Ильич, как выясняется, двадцать лет таскает на спине в порту всё, что приходит и уходит. Я ни о чём его не спрашиваю. Я просто покупаю ему ещё одну кружку, а он рассказывает сам, потому что человеку с такой шеей давно некому рассказывать про порт.

— Лес из Маньчжурии идёт к нам по железной дороге через Пограничную, а дальше на пароходы и за границу. Сорокин. Вагонами и баржами. Хитрый мужик, каждую копейку считает. Своих не обижает, чужих не замечает. — Он отпивает. — Японский товар Баженов возит: рыба, рис, шёлк. Шумный. Любит, чтобы все знали, что он Баженов. Сани у него, цепь золотая на жилете, в трактир со свитой ходит. А вот Рогов… — Он умолкает. — Этот иначе. Этот в церковь ходит чаще, чем в контору, а в порту его знают как честного. Грузчикам на Пасху по рублю даёт, хотя сам не из богатых.

— А кто богат?

— Богатые, барин, нас не замечают.

Но у имён должны появиться лица, а для этого мне нужен ещё кто-то, чьё мнение не придётся делить с чужой выпивкой.

Гришка лучший источник в городе. Уличные дети знают всё: кто подаёт, кто бьёт, кто считает. Я задаю вопрос в самой безобидной форме, на ходу, будто между делом, пока мы идём по переулку:

— Гриш, а вот Сорокин, Баженов, Рогов. Какие они?

Он отвечает мгновенно, без паузы, как отвечают на давно решённый вопрос:

— Рогов подаёт. Баженов бьёт. Сорокин считает.

— Как это «считает»?

— Он не бьёт и не подаёт. Смотрит и считает, сколько ты стоишь. Лучше мимо.

Три характеристики на три фигуры. В моём времени за такую сегментацию платят консалтинговым фирмам.

— А Лукич?

— Лукич своих кормит, чужих не обижает. Мелкий, — говорит Гришка и вдруг добавляет серьёзно: — Дядь, ты зачем спрашиваешь? Тебя кто-нибудь послал?

— Нет.

— Тогда не спрашивай так. Неправильно спросишь, тебя запомнят.

Гришка прав, и это неприятно. Я стараюсь запомнить.

Аркадий Львович находит меня сам, на третий день, у пекарни. Идёт рядом, глядя прямо перед собой, как человек, который ни с кем не разговаривает.

— Я вам ничего не говорил, Михаил Иванович. Но к Баженову не лезьте: он купит вас, как лошадь, чтобы было чем хвалиться. Сорокин человек без друзей и без долгов. Это редкое сочетание. А Рогов… — Он пожимает плечами. — Рогов добрый. Это тоже редкость, и тоже не всегда на пользу.

Он уходит, не прощаясь. У него это получается лучше, чем у меня.

Вечером я выхожу на набережную. Темно, холодно, пахнет водой и углём. У пристани стоят два парохода, один под японским флагом, другой под русским. Оба освещены, на палубе ходят люди, внизу грузят. Через семь с лишним месяцев в Европе начнётся война, о которой здесь пока говорят как о чём-то далёком. Через три с лишним года начнётся всё остальное.

У меня три имени. Три разных способа ошибиться.

Осталось выбрать, кому я поверю. Хуже то, что тот, кто поверит мне, будет рисковать всем.

Глава 10. Выбор

Выбирать лучше тех, кого видел своими глазами. Это правило я вывожу сам, потому что другого у меня нет.

Баженов.

Он является в «Ардаган» на второй неделе декабря, и по тому, как меняется воздух, я догадываюсь, что это он. Сани у крыльца, двое в тулупах у двери, потом сам: невысокий, плотный, шуба нараспашку и золотая цепь на жилете такая, что на ней можно причалить небольшой катер. За ним входит свита из пяти человек, которые смеются на полсекунды раньше шутки.

— Мягков! Пива на всех! — Баженов оглядывает зал так, как оглядывают собственность. Половому, который не успел отойти, он добродушно отвешивает подзатыльник, шутя, и у парня на секунду пустеют глаза. — А это что у вас за диковинка?

Диковинка — я. Опять башмаки, думаю я, но дело, кажется, не в них.

— Это тот, что Лукичу самовар придумал, — подсказывает кто-то из свиты.

— Иди-ка сюда, барин. — Баженов хлопает по лавке рядом. — Ты, говорят, по части товара мастер. Японцы рис возят, а у меня рис, как у всех. Чем мой рис хуже Пестова?

— Не знаю. Я вашего риса не пробовал.

— Так попробуй!

Мне подвигают миску. Я пробую.

— Хороший рис. Но его можно сделать запоминающимся: нужен знак, имя…

— Я плачу, — перебивает Баженов. — Пять рублей. Сегодня. Прямо сейчас. И ты у меня остаёшься.

Остаёшься. В этом слове нет «хочешь ли ты». Он покупает так, как покупают лошадь, и по лицам свиты видно, кем они себя в этой сцене считают.

Я отодвигаю миску.

— Спасибо. Нет.

Улыбка Баженова не гаснет, но делается тоньше и холоднее.

— Нет?

— Я пока занят. С Лукичом договорённость.

— Лукич! — Он хохочет. Свита хохочет. — Лукич мелочь. Подумай, барин. Сани у меня тёплые.

Он уходит так, как пришёл: шумно, с сопровождением. Мягков, собирая кружки, говорит вполголоса:

— Правильно. Он купит и забудет, как зовут. Человек для него вещь. Да и вся улица его знает, и городовой тоже. Тебе оно надо?

Мне не надо. Баженова вычёркиваем.

Рогов.

Его я нахожу в воскресенье у церкви, там же, где месяц назад ждал Аркадия Львовича. Рогов стоит на паперти в простом пальто, без цепи и без свиты, и раздаёт хлеб из большой корзины. Каждому, кто подходит, по куску, и каждому что-то говорит: имя, вопрос, шутку. Он знает всех нищих по именам.

Лет пятидесяти, лицо усталое и очень спокойное. Руки в мозолях, что странно для купца, пока я не вспоминаю, что он начинал грузчиком.

Я подхожу последним. Не за хлебом.

— Здравствуйте. Я хотел бы…

— Хлеба? — Он уже протягивает кусок. — Бери, милый, свежий.

— Нет, спасибо, я… — Я понимаю, что не могу сказать ничего из заготовленного.

Рогов смотрит на меня внимательно. И я вдруг вижу, как точен был Гришка: он действительно подаёт. Он не выясняет, кто я, откуда, зачем. Он просто готов дать всё, что мне нужно, как только я скажу.

— Тебе что-то нужно, — произносит он. Не вопрос. — Скажи.

Я могу попросить у него двадцать пять рублей. Он даст. Могу попросить поручительства. Он поручится, не спрашивая, и только потом выяснится, что поручился за человека, которого нет в природе.

А когда в семнадцатом придёт то, что придёт, он будет честно стоять на этом самом крыльце и раздавать хлеб, пока ему не скажут больше не раздавать.

— Нет, — говорю я. — Мне ничего не нужно. Спасибо.

Он кивает и снова протягивает хлеб, молча. Я беру. Хлеб тёплый.

Я только что отказался от единственного человека, который помог бы мне, ничего не требуя. И именно поэтому: тому, кто верит так легко, придётся потерять больше всех.

Сорокин.

Прохор берёт заказ на вывеску для склада Сорокина и берёт меня носить доски. Руками я умею только носить.

Склад у пристани длинный, чёрный и холодный. В конторе печь не топлена: экономия. За столом сидит сухой человек лет сорока пяти, в очках, с бородкой клинышком, и пальцы его на костяшках счётов двигаются, как у пианиста. Он смотрит не на вывеску, а на меня. Три секунды, ровно. И я понимаю Гришку: считает.

— Это тот, что Лукичу, — говорит он. Не вопрос.

— Тот.

— Сколько Лукич заплатил?

— Четыре рубля.

— А выручка у него выросла в полтора раза. Я проверял. — Он передвигает костяшку. — Откуда вы?

— Из Забайкалья.

— Хм.

Он записывает что-то в тетрадь. Я вижу не слова, а цифры.

Пока Прохор возится с вывеской, я оглядываюсь. На столе лежит письмо, половина которого написана иероглифами. На стене карта Маньчжурии, с карандашными пометками. Прохор замечает:

— А околоточный не придёт, ругаться будет? Мы тут стучим.

— Околоточный получает своё первого числа, — отвечает Сорокин, не поднимая головы. — Не беспокойтесь.

Я слышу в этой фразе то, что хотел услышать: человек, для которого полиция статья расходов, а не источник страха.

Уходя, я слышу, как он говорит, не обращаясь ни к кому:

— За границей мой лес продают без моего имени. Перекупщики наживаются, покупатели не знают, чей он. Если у человека есть голова, она должна работать, а не лежать на плечах.

Это сказано мне. Он ни разу не посмотрел в мою сторону, но это сказано мне.

На улице Прохор бурчит:

— Холодный мужик. Платит вовремя, но холодный.

— Нормальный, — говорю я.

Сорокин не добрый и не жадный. Он расчётливый. А расчётливые люди верят только тому, что можно записать в графу прибыли. Значит, мне нужно стать прибылью.

Выбор сделан. Хотя, честно говоря, выбирал он: из трёх единственный, кто на меня посмотрел и посчитал.

Глава 11. Простой

Сорокин принимает меня через три дня, в той же нетопленой конторе. Я пришёл с идеей для его леса: имя, знак на торце бревна, бумага для заграничных покупателей. Три дня я её обдумывал и даже успел ею немного погордиться.

Он выслушивает молча, не отрываясь от счётов. Потом откладывает карандаш.

— Лес, Михаил Иванович, покупают по сорту, по сечению и по цене. Японский подрядчик не заплатит лишней копейки за мою фамилию на бревне. Он её даже не прочтёт.

Он прав. Я понимаю это так же ясно, как понимал, что прав Гришка про гроб. Есть товары, которым имя нужно, и есть товары, которым нужно только приехать вовремя.

— Тогда зачем вы мне сказали про Харбин… про заграницу? Что ваш лес продают без вашего имени?

— Хотел посмотреть, за что вы ухватитесь. — Сорокин открывает толстую тетрадь. — Ухватились не за то. Но голова у вас работает, это видно. Вот куда она должна работать.

Он поворачивает тетрадь ко мне. Столбцы, даты, цифры. Я двадцать лет читаю чужие таблицы и узнаю картину сразу: вагон пришёл, вагон стоит, пароход пришёл, пароход ждёт, лес лежит на Эгершельде.

— Лес приходит из Маньчжурии по железной дороге, — говорит Сорокин. — Пароход приходит из Японии. Между ними три дня, иногда пять. Склад я плачу. Вагоны я плачу. Пароход тоже кому-то платит, а потом берёт с меня. Каждый день — деньги, и никто их не считает, кроме меня.

— Кто у вас грузит?

— Бурлаковы. Выгрузочная контора у Добровольного флота. Не хуже других.

— И не лучше.

Сорокин впервые за все наши встречи смотрит на меня почти с интересом.

— И не лучше.

Контора братьев Бурлаковых стоит у пристани Добровольного флота: одноэтажный дом, крашеный суриком, над дверью вывеска в две строки, буквы ровные. Прохор бы одобрил. Бухта у берега затянута льдом, и далеко от причала по нему катаются на коньках маленькие чёрные фигурки, как точки на белом листе. Посередине чернеет полоса воды, и по ней, ломая лёд с хрустом, ползёт ледокол «Воевода», чтобы пароходы могли войти и зимой. Я стою и смотрю, пока не замерзаю окончательно.

Внутри тепло, пахнет чернилами и мокрыми валенками. На стене висит расписание Добровольного флота в рамке. Я читаю его машинально, как читаю всё, на чём есть буквы, и одна строчка цепляет: экспрессные рейсы на Цуругу дважды в неделю, согласованы со скорыми поездами Китайской Восточной и Сибирской дорог.

Согласованы с поездами. Пароход, который должен успеть к поезду.

За столом сидит человек лет сорока, в жилете, рукава подвёрнуты, пальцы в чернилах. Давид Моисеевич Бурлаков, один из братьев. Я называю свою фамилию и фамилию Сорокина, и этого оказывается достаточно, чтобы мне предложили стул.

— Чем обязан?

У меня нет презентации, нет слайдов, нет даже бумаги. Есть один вопрос, и я начинаю с него.

— Сколько у вас уходит на погрузку парохода?

Бурлаков пожимает плечами.

— Как когда. Как артель соберётся, какая погода, какой день. В понедельник после воскресенья, сами понимаете, половина людей не люди.

— А экспрессу, — я киваю на расписание, — тоже «как когда»?

Он молчит. Это хорошее молчание: человек считает.

— Экспресс ждать не любит, — говорит он наконец. — У них поезд.

— Вот. Есть грузы, которым всё равно, лежать неделю или две. А есть те, для кого день — деньги. Экспресс. Холодильные трюмы, там товар портится. Сорокин с его лесом, который стоит на Эгершельде и ест деньги. Им не нужен самый дешёвый грузчик. Им нужен тот, кто успевает. И они за это заплатят.

— Успевать — значит, хорошие люди, — отвечает Бурлаков, как человек, который слышал такие разговоры не раз. — Чернорабочий у меня рубль с четвертью, полтора. Хороший грузчик хочет больше, и его ещё удержи. Вы мне предлагаете платить дороже. В год, когда торговля упала. Вы газеты читаете? Биржевой комитет пишет, что привоз меньше, вывоз меньше.

— Упала, но не умерла. Пароходы приходят. И те, кто остался, считают каждый день ещё злее, чем раньше. Вам не нужен весь порт. Вам нужно три клиента, которые знают, что Бурлаковы успевают.

— А люди?

— Платить не за день, а за работу. С пуда, с вагона, с парохода. Быстрый сам заработает больше, медленный меньше, а вы платите за сделанное. Дороже выходит только тогда, когда работа сделана.

Бурлаков стучит пальцами по столу.

— Сдельно у нас и так кое-где платят.

— Кое-где. А я предлагаю это продавать. Пусть экспресс знает: Бурлаковы погрузят к поезду. Не успели — скидка с работы. Обещание с ценой. Его никто не даёт, потому что никто не умеет его держать.

— А я, значит, сумею?

— С правильной артелью.

— Хороших людей переманят.

— Попробуют. Но в артели, которая успевает, люди держатся не только за рубль. За то, что их знают. У вас их будут знать.

Он смотрит на меня долго, и я выдерживаю этот взгляд, хотя внутри всё дрожит, как перед первой защитой бюджета в молодости.

— Кто будет старшим?

— Есть один. Иван Ильич. Двадцать лет в порту, шея как у быка.

— Знаю такого. — Бурлаков неожиданно усмехается. — Честный. Пьёт по субботам, но в понедельник на ногах. Это редкость.

Он поднимается, подходит к расписанию, водит пальцем по строчкам.

— Через неделю экспресс, «Полтава». Попробуем на нём. Одна артель, сдельно, и мы скажем агенту Добровольного флота, что погрузим к сроку. Если сорвётся, я вас не знаю, Степнов. Если выйдет…

— Если выйдет, поговорим.

— О чём? О деньгах?

Я мог бы сказать «о деньгах». Это было бы понятно, и он бы кивнул.

— Мне нужно не много денег, — говорю я. — Мне нужна одна подпись.

Бурлаков поднимает бровь, но ничего не спрашивает. Это я тоже записываю ему в плюс.

На пристани ветер бьёт в лицо, и ледокол уже далеко. Я иду вдоль причала и думаю о том, что ничего не знаю о Бурлаковых. Их нет в моих книгах, ни одного абзаца. Может, это и хорошо. Про тех, кто есть в книгах, я слишком хорошо знаю, чем всё кончилось.

Глава 12. Шея

Во вторник Иван Ильич пива не пьёт. Это я узнаю от Мягкова, который кивает мне у стойки и показывает подбородком на угол у печки.

— Там. Чай у него по вторникам. Дочка в школе сказала, что от пива у отца глаза красные.

Иван Ильич сидит боком к залу, спиной к стене, огромный и неподвижный, как мешок зерна, поставленный на скамью. Перед ним стакан в жестяном подстаканнике и на блюдце два куска колотого сахара. Он не кладёт их в чай и не грызёт. Один кусок он прячет в карман жилета, и я догадываюсь, для кого. Второй вертит в пальцах и смотрит на него, как смотрят на вещь, которую очень хочется донести целой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.